



## **А. Е. СТУДИТСКИЙ**

### **По поводу «Очерков» г. Щедрина**

<Фрагменты>

Г. Щедрин принадлежит к тем немногим литературным личностям, которые на первых же порах своей деятельности становятся во главе того или другого литературного движения. Его «Очерки» с жадностью читаются всеми; от него каждый раз ждут какого-нибудь нового слова, развития какой-нибудь гуманной идеи. Вопрос, им поднятый, близок нашему сердцу. Русское общество дошло уже до той поры, когда каждый из членов его чувствует какое-то томление, какое-то страдание нравственное от своих собственных недугов. Сознаем мы, что болезнь, нас постигшая, не пришедшая откуда-нибудь со стороны, а наша собственная, родовая, нами самими вскормленная и взлелеянная; и теперь, когда почувствовали мы в себе силу очиститься от того зла, которое тихо, почти незаметно для нас самих, успело войти в нашу нравственную природу и получить там тепленькое местечко, теперь, говорим мы, нам понадобились такие деятели, которые, обладая светлым умом и меткой наблюдательностью, начали бы вскрывать наши общественные язвы, выставлять на вид весь сор, всю нравственную грязь, которая в продолжение многих лет накоплялась и сохранялась по уголкам общества. Одним из таких деятелей явился в настоящее время г. Щедрин. Он в своих увлекательных рассказах, так ловко и верно обрисовывающих действительность, затронул одну из важных сторон нашей болезни — неправду и взяточничество.

То, что таилось и жило самостоятельною жизнью в каком-нибудь отдаленном Крутогорске и подобных ему городах нашего отечества, все эти исправники, становые, головы, которые до сих пор свободно и молча, с сознанием собственного достоинства, прогуливались по лицу русской земли и собирали за это установленную виру, все эти рыцари нового времени вдруг заговорили у г. Щедрина и с какой-то

детской наивностью начали рассказывать о многотрудном и многозначительном прохождении своего служебного поприща. Публика с восторгом приняла эти рассказы, да и как ей было не радоваться, — она ждала г. Щедрина, ей непременно нужно было услышать живое, свободное слово истины, взглянуть прямо, без всяких прикрытий на то, чего она не могла или, быть может, по слабости человеческой, не хотела в себе видеть. Для г. Щедрина, при его наблюдательности и светлом взгляде на вещи, открылось широкое поле деятельности, на котором он, вероятно, достигнет благотворных результатов, но... как досадно, что приходится употребить эту несносную частицу, говоря о достоинствах г. Щедрина! Впрочем, кому много дано, от того много должно и требовать, и чем строже общество судит какого-нибудь писателя, тем более, значит, оно им и интересуется... Итак, говоря о деятельности г. Щедрина, мы хотели предложить вопрос: был ли он постоянно верен той основной идее, которую начал проводить в своих «Очерках»? И ежели замечались переходы на другую дорогу, может быть, для него незнакомую и не совсем даже понятную, то что выносил он оттуда для общества? Вопросы эти, по нашему мнению, настолько важны, что заслуживают общего внимания. Задача г. Щедрина, как мы уже говорили, заключалась в том, чтобы поднести на суд публики обвинительный акт «прошлого времени».

И вот, во имя правды, является у него целый ряд очерков, в которых так ясно, так осязательно понятна становится нам наша нравственная порча. Мы видим, что и Фейер, и Живоглот, и Алексей Дмитриевич наши братья по духу и по понятиям, мы узнаем в них себя и готовы воскликнуть: «Здесь Русью пахнет!» Но, при всей поразительной верности выставленных в «Очерках» лиц, мы чувствуем, что в самом авторе как будто чего-то недостает, и невольно спрашиваем себя: не портретист ли он только? Не потому ли так хорошо очерчены его герои, что сами они делаются более рельефными и выдаются из общей массы, потому что редее и уменьшается число их сотоварищей, делается постепенный наплыв новых лиц с иными побуждениями и понятиями, между которыми им как-то тесно, несподручно живется, и они, таким образом, сами себя выявляют? Едва ли не утвердительно можно ответить на эти вопросы. Мы не замечаем в авторе «Очерков» той силы художественного таланта, которая выводит наружу и то, что не выказывается само собою, которая в личности, по-видимому, очень обыкновенной, не останавливающей на себе внимания наблюдателя, находит какое-нибудь маленькое пятнышко, в сущности очень важное, и, выставляя его на вид, делает незамечательное лицо замечательным. Так, Гоголь обрисовал

Петрушку, Селифана, Манилова, даму приятную во всех отношениях и даму просто приятную и др. Теперь эти личности всем нам понятны; мы видим и жизнь их, и интересы, и их слабые стороны; а между тем для обыкновенного наблюдателя они прошли бы незамеченными. Лица, к которым не за что, по-видимому, прицепиться, которых должен искать писатель и потом выводить из общей массы, живут и теперь между нами, и все-таки мы их не видим, потому что попытки выставить их остаются без успеха: перед нами являются какие-то бледные, безжизненные субъекты, не оставляющие после себя никакого следа в читателе. Такими были в нынешнем году у г. Щедрина — Горехвастов в рассказе «Талантливая натура» и Корепанов и Лузгин в другом рассказе под тем же заглавием. Личности, подобные Горехвастову, встречаются также у г. Тургенева; это разные вариации на одну и ту же тему. Горехвастов, шулер, несколько раз попадавший в руки полиции, и, как большая часть шулеров, воображающий себя или поэтом, или трагиком, рассказывает автору очерка некоторые случаи из своей жизни. Г. Щедрин записал этот рассказ и представил на суд публики. Но с его стороны не было употреблено никаких усилий заставить своего героя сказать что-нибудь более характеристическое. Мы не видим ничего типичного, ничего своеобразного в представленной им личности, — пред нами только Горехвастов, человек, ничем не отличающийся от целой массы шулеров. Это не то, что Ноздрев, например, тоже шулер, который с первым же выходом на сцену, в двух-трех словах, высказывает себя весь, со всеми малейшими оттенками характера, и делается, таким образом, типом, получает свою особую физиономию. В нем нет ничего закрытого, пред нашими глазами выставляется вся нравственная его природа, и такое умение показывать описываемую личность мы называем — художественностью. Напротив, в Горехвастове есть что-то недосказанное; читая этот очерк, все ждешь, что вот-вот автор заставит своего героя поговорить откровеннее о самом себе, а между тем рассказ кончается, и все-таки не можешь дать себе ясного отчета — что такое Горехвастов, в чем заключается его особенность, где та сторона его характера или образа мыслей, которою он отличается от других, подобных ему людей? Ведь, в каждом из нас есть что-нибудь, чем мы разнимся один от другого. Автор не отвечает ни на один из этих вопросов, так как сам не нашел ничего серьезного в Горехвастове. Выскажись Горехвастов больше — картина была бы полнее. Другая личность в этом же рассказе, Рогожин, по нашему мнению, заслуживает гораздо большего уважения, хотя он и стоит на втором плане. Вот тут, может быть, подтвердится высказанное

нами предположение, что г. Щедрина вполне удавались только те лица, которые всякому бросались своею оригинальностью и сами собою даются в руки писателю. Из самого описания Рогожина, из первых слов, которые он «пролепетал» Горехвастову: «Да-с... Это точно... приятное зрелище!..» мы уже составляем о нем понятие, как о маленьком подленьком человеке, готовом, не задумавшись, решиться на какой-нибудь гадкий поступок, но только под чьим-нибудь прикрытием. Он постоянно ищет себе другого, более себя сильного, хотя даже физически, бегаёт около него, увивается, хладнокровно переносит насмешки, дерзости, — и все потому только, что он должен при ком-нибудь состоять; такое уж его назначение. Словом, это — личность, постоянно носящая на себе безличный характер, что и составляет ее полную, неотъемлемую собственность.

Понятно, что, при наблюдательности г. Щедрина, Рогожин не мог ускользнуть от его взгляда, и мы имеем теперь его прекрасный портрет, несмотря на то, что не он, собственно, обратил на себя главное внимание автора в рассказе «Талантливая натура». В предисловии ко второму очерку, под тем же заглавием, г. Щедрин, говоря о «своеобразности провинциального печоринства», высказывает, между прочим, в следующих словах весьма дельную и серьезную мысль: «Молодой человек (говорит он), напротив того, начинает уже смутно понимать, что вокруг него есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; он видит себя в странном противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остается при одном зубоскальстве или псевдо-трагическом негодовании». Вот это-то переходное состояние — от противоречия с окружающей обстановкой до отупевшего зубоскальства или ложного трагизма — заслуживало бы, по нашему мнению, особенного внимания автора. Весьма интересно бы было проследить самый процесс перехода от одного состояния к другому, подметить ту общечеловеческую сторону нашей нравственной природы, в силу которой даже «необладающий никакими живыми началами» готов заявить свой протест при столкновении с общественным злом. Г. Щедрин ничего этого не раскрыл нам. Корепанов постоянно над всем насмеяется, хотя иногда и довольно остроумно, и говорит, что в нем «кипит какой-то страшный, неистощимый источник злобы» против всех его окружающих; а Лузгин дошел уже до трагизма. Он восклицает: «Для чего же природа не сделала меня Зеноном, а наградила наклонностями сибарита, для чего она не закалила мое сердце для борьбы с терниями суровой действительности, а, напротив того,

размягчила его и сделала способным откликаться только на доброе и прекрасное? Для чего, одним словом, она сделала меня артистом, а не тружеником?..» И потом сам же отвечает себе на эти вопросы: «Природа-то ведь дура выходит!»

В рассказах Корепанова и Лузгина о их воспитании мы не видим никакой борьбы с окружающей их обстановкой, не замечаем и того смутного понимания правды, о котором так хорошо говорит сам г. Щедрин в своем предисловии к рассказу. А жаль! Для нас было бы гораздо приятнее и поучительнее посмотреть на эту нравственную неустойку человека пред внешними препятствиями, чем на какие-то бледные портреты провинциальных рыцарей. Вот что значит заходить в чужую, мало знакомую сферу! Посмотрите, как безукоризненно хорош бывает тот же автор, когда он описывает быт раскольников или чиновнический мир, с его мелкими страстями, с его исключительной, по какой-то особой мерке сложенной, жизнью. Здесь он хозяин своего дела; здесь все ему удается, и яркими красками рисует он картины — одна другой поразительнее и оригинальнее... По нашему мнению, та сфера, в которую вошел г. Щедрин, начиная писать свои «Очерки», так много заключает в себе нетронутых и вместе с тем в высшей степени интересных сторон, что, право, обрабатывая их, он оказал бы русской литературе и обществу гораздо большую услугу, чем рассказами о Горехвостове, Корепанове и др. Посмотрите, как правдив и хорош рассказ «Матюшка Мавра Кузьмовна». Сейчас видно, что автор твердою рукой писал его от начала до конца, что каждое слово, в нем высказанное, тщательно им осмотрено и даже, быть может, изучено. Оттого в нем есть и полнота, и законченность. Или возьмем, другой очерк, под заглавием «Первый шаг», из которого мы позволяем себе выписать несколько строк: «Примеров хороших пред собою мы видим мало (говорит подсудимый чиновник). Много народа служит и пьяного, совсем отчаянного, много и такого, что взятку за самое обыкновенное дело считают. Стало быть, подражать тут некому. А житье наше, осмелюсь вам доложить, самое незавидное: как есть узник. Придешь в присутствие часов с осьми, сидишь до двух, сходишь куда ни на есть перекусить, а в пять часов опять в присутствие, и сиди до одиннадцати. Выходит, в сутки поработаешь этак не меньше двенадцати часов, и все согнувшись... Как кончится день, в глазах рябит, грудь ломит, голова идет кругом, — ну, и выходишь из присутствия, словно пьяный, шатаешься. Летом всего тяжелее бывает. Иной раз сходил бы за город, посмотрел бы, что такая за зелень в лугах называется, грудь хоть бы распатал на вольном воздухе — и вот нет да и нет! Смотришь иногда, едут начальники

или другие господа на больших долгушах, едут с самоварами, с корзинами — и позавидуешь... Или, вот, возвращаешься ночью домой из присутствия, речным берегом, а на той стороне туманы стелятся, огоньки горят, паром по реке бежит, сонная птица в воде заполощется, и все так звонко и чутко отдается в воздухе, — ну, и остановишься тут с бумагами на берегу, и самому тебе куда-то шибко хочется».

Какую безотрадную, исполненную самых живых интересов картину рисует автор в этих немногих строках!.. Вы ясно и отчетливо представляете себе этого бедного труженика-чиновника, который не имеет возможности попользоваться даже чистым воздухом; вы видите его сидящим за канцелярским столом над какой-нибудь бумагой, — лицо его красно от прилива крови, на лбу выступил пот, в глазах несвязною вереницей вертятся буквы, и он все пишет, все пишет... Если же подчас и захочется ему «чего-то шибко», в чем он не может дать себе ясного отчета, то вслед за этой дерзкой мыслью явится непременно другая: столоначальник человек строгий, — сейчас обратит внимание, что рука его перестала действовать, и, пожалуй, еще удержит жалованье за нерадение к службе, а без него, без этих кровью добытых пяти рублей, ему нечего будет есть, и он гонит от себя прочь это непрошенное желание чего-то неопределенного и еще прилежнее начинает скрипеть пером по бумаге... Конечно, стеснять свободу автора никто не имеет права, — он волен писать все, что ему угодно, но следить за его направлением обязан каждый, кого интересует современное образование общества; и в сфере, незнакомой писателю, где он действует как-будто оцупью, по нашему мнению, является или отсутствие всякого направления, или оно принимает ложный характер. И то и другое неутешительно. Да и неужели не знает г. Щедрин, что талант даровитого писателя составляет, некоторым образом, собственность общества? Оно отдает ему все заветные, все дорогие свои надежды и ждет от него того живого слова, которое бы могло пролить новый свет на окружающую его действительность.

Неужели не знает он и того, что на него смотрят много глаз и что между читающими людьми найдутся и такие, которые твердо станут за правое дело и не дадут в обиду ни одной здоровой идеи? Но, как видно, г. Щедрин ничего этого не принимал в расчет, когда писал свои последние очерки — «Богомольцы, странники и проезжие».

Всякий, кто со вниманием прочитает их, почти с достоверностью может сказать, что автору совершенно незнаком этот предмет, за который он взялся. Он не только не изучил его, но даже и не наблюдал серьезно, тогда как это еще совершенно новая, непочатая сторона нашей народной жизни, требующая серьезного взгляда,

а не поверхностного и одностороннего, какой выказал г. Щедрин в своем очерке. Все эти рассказы странников о юнице и др. можно принять за поэтическое создание наших самородных трубадуров, можно искать в них, пожалуй, материалы для национальной поэзии, но ничего того, что в них хочет видеть г. Щедрин. Если рассказ о Пахомовне — сказка, записанная с чьих-либо слов, то нужно было так и отметить, сказав, где и от кого она получена; если это стих вроде того, какие поют нищие, то опять-таки следовало бы пояснить это вначале... Неужели же мы должны принять этот рассказ о похождениях Пахомовны с полным доверием к его справедливости? Но нет, это уж было бы слишком смелое предположение с нашей стороны; мы скорее готовы допустить, что г. Щедрина, вследствие каких-либо причин, не захотелось или не удалось обратить побольше внимания на свой труд. Эта догадка будет еще несколько извинительна для автора, хотя для нас она не представляет большого утешения.

Интересно, между прочим, то обстоятельство, что г. Щедрин сам, своей же статьей, доказывает, что талант его делается несостоятельным в чуждой ему сфере. Среди трех его очерков: «Общая картина», «Антон Пименов» и «Пахомовна», как оазис в пустыне, являются несколько страниц, на которых он мастерски передает народное гулянье на городской площади. В этом небольшом описании мы видим прежнего г. Щедрина, его умение придать колорит картине, его наблюдательность, — словом, видим все то, чем так любовались в других его очерках. Кажется, что эти несколько страниц сами собою, невольно как будто, вышли из-под пера автора в силу того нравственного чутья, которое не позволяет человеку развитому отступать от избранной им прямой дороги; а он как будто упрямится, не хочет слушать своего внутреннего голоса и опять сворачивает в сторону...

Об очерке «Госпожа Музовкина» мы говорить не будем, потому что он написан умно и с большим тактом, а хорошего и без нас говорили о г. Щедрине. Что касается до четвертого очерка, под заглавием «Хрептюгин и его семейство», то и в нем мы замечаем некоторую бледность характеров и отчасти непоследовательность, сравнительно с другими очерками, обрисовывающими жизнь и отношения чиновников. Считаю совершенно лишним рассказывать содержание этого очерка, — вероятно, он известен всем читателям, но не можем утерпеть, чтобы не выписать нескольких мест, подтверждающих наше мнение. Возьмем, например, описание столоначальника палаты — одного из главных действующих лиц: «Другой спутник, — говорит автор, — птица небольшая, да и немалая, той самой палаты столоначальник, которая и Хрептюгина, и Халатова, и всех армян,

еллинов и иудеев воспитывает, “да негладны и беспечальны пребывают”. Прозывается он Прохор Семенов Боченков, видом кляузен, жидок и зазорен, непрестанно чешет себе коленки, душу же хранит во всей чернильной испорченности, всегда готовую на службу или на пакость, смотря по силе возможности. Его тоже разломило в дороге, так как он ходит по комнате, аки ветром колыхаемый, что возбуждает немалую, хотя и подобострастную веселость в Хрептюгине...» Каким же образом чиновник, как и все мелкоплавающие чиновники, готовый на службу или на пакость, — положим и важную даже, но ведь исподтишка, — возбуждает в откупщике (человеке богатом, значит), подобострастную веселость? <...> И мы сильно сомневаемся, чтобы какой-нибудь столоначальник, хотя бы и имеющий влияние на откуп, решился так фамильярно и даже невежливо обращаться с человеком, убогающим весь город, за которого, смеем думать, не откажется постоять кто-нибудь и поважнее столоначальника. Посмотрим же теперь, как выставлены эти отношения в предлагаемом рассказе. Разговор между Хрептюгиным, Боченковым и содержанием постоялого двора: — «Видно, Богу помолиться собрались, Иван Онуфрич?» — спрашивает вошедший хозяин. — «Да, надо помолиться. Он нас милует, и мы Ему молиться должны», — отвечает Иван Онуфрич отрывисто. — «Из сидельцев...» — начинает Анна Тимофевна, но Иван Онуфрич бросает на нее смертоносный взгляд, и она робеет. — «Вы вечно какую-нибудь глупость хотите сказать, тапан», — замечает Аксиныя Ивановна. — «Что же за глупость! Известно, папенька из сидельцев вышли, Аксиныя Ивановна! — вступает Боченков и, обращаясь к г. Хрептюгиной, прибавляет: — Это вы правильно, Анна Тимофевна, сказали: Ивану Онуфричу денно и ночью Бога молить следует за то, что Он его, Царь Небесный, в большие люди произвел. Кабы не Бог, так где бы вам родословной-то своей искать? В червивом царстве, в мутном государстве? А теперь вот Иван Онуфрич, подикось, от римских цезарей, чай, себя по женской линии производит!» Далее в том же разговоре: — «Ну, уж ты там как хочешь, Иван Онуфрич, — прерывает Боченков, почесывая поясницу: — а я до следующей станции на твое место в карету сяду, а ты ступай в кибитку. Потому что ты как там ни ломайся, а у меня все-таки кости дворянские, а у тебя холопские». Через страницу: — «Ведь, вот, кажется, пустой напиток чай! — замечает благодушно Иван Онуфрич: — а не дай нам его китаец, так суматоха порядочная может из этого выйти». — «А какая суматоха! — возражает Боченков: — не даст китаец чаю, будем и липовый цвет пить! благородному человеку все равно, было бы только тепло! Это вам, брюханам, будет худо,

потому что гнилье ваше некому будет сбывать!» <...> «Ну, однако, мы теперича на твой счет и сыти и пьяни... выходит, треба есть нам соснуть. Я пойду, лягу в карете, а вы, мадамы, как будет все готово, можете легонько прийти и сесть... Только, чур, не будить меня, потому что я с просоньев лют бываю! А ты, Иван Онуфрич, уж так и быть, в кибитке тело свое белое маленько попротряси!» Из представленных здесь выписок можно предположить только одно, что между Хрептюгиным и Боченковым есть какая-нибудь тайна, вследствие которой неважная птица — столоначальник может держать в руках богатого человека; но так как автор ничего не говорит об этом, то мы и не можем ручаться за достоверность своего предположения... Впрочем, во всяком случае современная русская литература должна быть благодарна г. Щедрина за ту услугу, которую он приносил ей, если уж и не приносит теперь. Будем ждать и надеяться, что он опять войдет в знакомую ему сферу и станет дарить нас по-прежнему прекрасными рассказами.

